

Рада Полищук

Постояльцы, жильцы и пр.

Рассказ

Красный четырехэтажный кирпичный дом в глубине проходного двора дома десять-двенадцать во 2-м Крестовском переулке. Москва. XX век.

На первом этаже над подвалом большая пятикомнатная квартира. Длинную, как пенал, угловую комнату с тремя окнами по торцевой стене, напоминавшую террасу, занимал учитель географии Юрий Анатольевич Бероев, постоялец. Настоящий постоялец, не по словарю, а от описки в какой-то справке из жилищной конторы получилось и прижилось. Другой смысл разглядели — постоянный, то есть: когда-то эта квартира принадлежала его деду, тоже географу, профессору, потом отцу, географу, доценту. В общем, по нисходящей, но все же — династия. Учитель носил черную профессорскую шапочку деда, похожую на ермолку, что придавало ему солидности и одновременно вызывало отторжение почти всего жилсостава большой коммунальной квартиры. Ну и что с того, что ты внук профессора, пусть и сам учитель, ну и что, что постоялец! Правила общежития и на тебя распространяются: в помещении принято ходить без головного убора! В этом мнении сошлись все, даже самые непримиримые друг к другу.

Вот они, эти правила: висят в коридоре, напечатанные на пишущей машинке на плохой пожелтевшей бумаге, которая за годы истрепалась, а обновить некому. Да кто их читает, все и так всё помнят или не помнят, у кого как память работает. И соблюдать—не соблюдать — дело совести каждого.

Почитать правила интересно как архивный документ — памятник эпохи сталинских коммуналок. Хорошо бы почитать, сидя в уборной.

Но: в уборной нельзя засиживаться дольше десяти минут, только в критических случаях, старший по квартире, староста, должен быть в курсе. Воду расходовать максимально экономно — это важный показатель для расчета общего итога коммунальных затрат по квартире. Гасить за собой свет в коридоре, на кухне и в других местах общего пользования, как то: холодный чулан-кладовка в квартире и погреб в подвале, там можно вообще не зажигать лампу, пользоваться ручным фонариком или спичками. Хотя соблюдать меры предосторожности необходимо каждому, это не обсуждается. Пожара им только не хватало!

Полищук Рада Ефимовна живет в Москве. Писатель, издатель и главный редактор российско-израильского русскоязычного альманаха еврейской культуры «ДИАЛОГ» (издается с 1996 года). Автор семнадцати книг прозы и двух сборников стихов (Библиотечка поэзии Союза писателей Москвы). Постоянный автор «ДН».

Перечень длинный, но четкий. И что странно — педант и аккуратист Юрий Анатольевич по прозвищу Профессор нарушал все пункты правил. Не злонамеренно. Он жил в этой квартире с раннего детства и привык к другому образу жизни, к полной свободе и независимости. Это закрепилось в его подсознании, может быть, даже на генетическом уровне, не вытравить. Он очень хотел быть как все, у него просто не получалось. «Прошу прощения! Прошу прощения!» — эти два слова не сходили с языка и вызвали яростное раздражение. А он еще и головой кивал, как будто кланялся. Кому это может понравиться, спрашивается? Да никому.

Все помалкивали, скорее всего в память о покойнице — жене Профессора Полине, она бы их быстро каждого на свое место определила. Защищала его, как хищница-мать несмышленого детеныша. Любила очень. Да беда вдруг накрыла: купальщица, ныряльщица, нырнула с мостков на озере, где никогда не плавала, ударилась о камень, в результате — перелом шейного отдела позвоночника, паралич рук и ног, речь вообще потеряла и лежала недвижимая два года. Он ее один выхаживал. Сначала врачей вызывал, один раз консилиум на дому устроил, по старой памяти об отце помог известный невропатолог. Консилиум вынес приговор: безнадежна. Юрий Анатольевич не желал смиряться, вежливо распрощался с каждым и больше к эскулапам не обращался ни на каком уровне: ни в районную поликлинику, ни к светилам. Сам выхожу — решил. И был готов на все.

Да все свелось к тому, чтоб подмыть, умыть, бульоном или кашей накормить, больше ничего не принимал организм. Поначалу еще посадить пытался, потом с боку на бок перевернуть, чтобы пролежней не было, предупреждали. А потом сдался, понял, что умирает его Полина, умрет — другого исхода не будет. И помогал, как мог. Научился делать уколы, чтобы она не мучилась от непрерывной боли, бродившей по иссыхающему телу от пролежней, которые все же появились. Сидел рядом, как пришитый, — то ручки погладит, то ножки помассирует, чтоб не замерзали и не дрожали, как жалкие осиновые листочки на сухих ветках, то слезки промокнет мягкой салфеткой с фамильным вензелем на уголке, они стопочкой лежали на столе, белоснежные, подсиненные по всем правилам, отутюженные. По семейным преданиям, салфетки бабушка вышивала, жена дедушки-профессора. Мало что от них осталось в квартире — так жизнь повернулась.

Бабушка — девушка-институтка, из хорошей семьи, с правильным воспитанием; ей впоследствии этими нежными руками пришлось и стирать белье в проруби, и дрова на щепки рубить для растопки, и козу доить, и в хлеву убирать, драить от вековой грязи и белить известью стены и потолок нежилой комнатухи, в которой приютились, когда деда перевели на поселение после отсидки в одном из северных лагерей. С той поры она была с ним неразлучно, день за днем, год за годом, медленно продвигаясь к Москве, пока не вернулись в свою бывшую квартиру, в комнату сына. Остальные были заняты чужими людьми. И слава богу, что так! Свой угол в своей квартире, если абстрагироваться от... если от всего абстрагироваться... У них получилось, закалились характерами, пройдя через все испытания, которыми наградила их жизнь. Никогда, никогда не говорили: наказала. Может, тем и сберегли себя. Кто знает? Ненадолго, правда, — сошли в землю один за другим, ни от чего, вроде бы, никакой неизлечимой болезни у них не было. Изжили свое, должно быть, отмучились. Так говорили немногие друзья-знакомые на поминках у обоих. А они бы так никогда не сказали и никогда не думали, что мучились. Они были счастливы любовью друг к другу, верностью и никого не поминали лихом за свои несбывшиеся надежды. Мечтать тоже надо уметь по-настоящему, не так-то просто. В одном Бог не пожалел дедушку — не он первым ушел. Год и девять месяцев просидел он возле бабушкиной кровати, и эти неполные два года показались ему дольше, чем все время, проведенное в лагере.

Так сидел и Юрий Анатольевич возле своей умирающей Полины. Боль избыл со временем, дни перестал считать — сбился со счета, да и бессмысленное это занятие: Полина уже не здесь, хоть он и держит ее за руки, для чего — сам не понимает, и где теперь она, тоже не знает. Еду ему соседи заносили, иногда по очереди, а иногда все

разом: люди есть люди, плохие, хорошие, во всех теплится нотка сострадания, осмысленная или бессознательная. Сочувствовали кто как мог. И на похоронах Полины плакали, и на поминках — они ее жаловали, хоть и робели перед ней. Царственная была женщина, ей бы во дворце жить, а не в коммуналке. Не доглядел кто-то. И сороковины соседи устроили, он бы не стал. Да его никто и не спрашивал. Он только слабым голосом пытался сказать: не надо, у евреев это не принято. Каких евреев? Не сразу поняли, что это он о Полине. А поняли, и единодушный вывод сделали: справим как положено, евреи тоже люди.

У него не было сил противиться.

Надежда Саввишна, Надюша, по-свойски Дюша — тоже постоялец по внутриквартирной классификации. Или постоялица? Рангом пониже Профессора — бывшая домработница, бывшая няня Профессора, старушка степенная, немногословная, с достоинством. Губки держит, как барыня — бантиком, никогда не распускает, ни в горе, ни в радости, все настроение в глазах отражается — то ярко-карих, то темно-коричневых, в морщинках у век, на лбу и на переносице. Где усвоила такие манеры, чего рассуждать: она такая, какая есть, принимайте, коли не брезгуете. Дюша — для всех возрастных категорий, откликается на этот зов.

Относятся к Дюше доброжелательно даже те, кто в непримиримых отношениях со всеми, без объяснения причин — холодная война, как круговая оборона. Да что говорить — обычный уклад жизни любой коммуналки: то хуже, то лучше, да и в семьях, чего греха таить, не все гладко бывает.

«Постоялица» Дюша жила тихо, скромно, в бывшей комнатенке для прислуги при кухне, с маленьким оконцем под потолком, строго говоря — нежилое помещение, чуланом в жировке числилось, только после войны на нее ордер выписали, тогда можно было, тогда же и дверь в коридор прорубили, а которая из кухни — заколотили. С хозяйством своим немудреным справлялась сама, несмотря на весьма преклонный возраст, и даже когда за семьдесят перевалило, сама мыла посуду, убирала за собой на кухне, только от дежурств по квартире ее освободили. К семидесятилетию юбилею такой подарок от соседей получила. Еще решили, что дежурный раз в неделю будет приносить ей из магазина продукты, — никого не перегрузит ее потребительская корзина, говоря официальным языком. А неофициально — много ли старушке надо: крупа, сахар, хлеб, молоко, картошка, лук. Конфетки-подушечки, мягкие, с начинкой из повидла, подкладывали дополнительно, кому сколько не жалко. Дюша принимала с достоинством, глаза благодарно светились, она любила сладкое.

А еще она любила своего Юрашечку, Юрия Анатольевича, Профессора. Вместо него, за него обижалась на Профессора: не по-хорошему назвали, вроде дразнилки, казалось ей. По ней — будь он просто слесарем, даже не очень высокого разряда, она бы любила его ничуть не меньше, даже больше всех и совершенно бескорыстно. Все ждали, что он будет ученым, как отец и дед, носить черную шапочку по праву — как знак отличия, а не как тюбетейку, что он и делает. А пусть так. Дюша знает, он очень уважал дедушку своего, хотел ему нравиться, немного побаивался. Пожалуй, только дедушка никогда не баловал его, не сажал на колени, не читал книжки, не играл с ним в шахматы. И никогда не целовал. Дюша не знает почему. Так и не узнала до конца жизни, тайна не открылась ей. Похож был на деда — ну просто вылитый: и лицо, и фигура, и пальцы рук, и голос, и смех. Даже бабушка, жена профессора, смеясь, говорила: и я каждый раз вздрагиваю — вижу и слышу своего молодого папую, так она ласково называла мужа. И целовала внука — и за себя, и за деда, только ему, наверное, этого мало было. Так и рос недоцелованный, хоть и любимый всеми.

А потом появилась Полина, жена Юрашечки, и вспыхнула ревность: Полина и Дюша. Молодая жена ревновала к старой няне. Смешно сказать, но так было.

К дворовым подружкам, близняшкам неразлучным Таисии-Алевтине не испытывала никаких чувств, потому что Юрашечка на них не реагировал. Другое дело Дюша, совсем другое.

Пока речь навсегда не пропала, Полина успела сказать: «Пусть она не дотрагивается до меня, пусть в комнату нашу не заходит, а лучше пусть уедет отсюда. Поклянись, пока я в сознании, что так будет». Дюша слышала, как Юрашечка долго молчал, шумно сглотнул ком в горле и, поперхнувшись, как в детстве при простуде, сказал: «Клянусь».

Она пошла к себе, собрала немудреные пожитки и уехала в свою деревню, где не была, почитай, лет тридцать, около того. К сестре троюродной поехала, жива еще, моложе на несколько лет, вдовая с войны и бездетная, авось примет.

Деревня Боково Тверской области.

Сестра Нюта, вдовая и бездетная...

Чуть не сказала — по Божьей воле, да споткнулась на слове, аж дыхание в груди задержалось, успела подумать: не продышусь. Муж геройски погиб во время атаки в самом начале войны, новобранец — разобраться не успел, что к чему. Подорвался на mine, без рук и ног, обескровленного до медсанбата не дотащили, там таких — недвижимых, ползущих, стонущих, обожженных, с рваными ранами — на одного врача-хирурга и трех молоденьких медсестер... ой, сколько! Проявил Бог к нему свою милость — приборал. И Нюте облегчение вышло — не то с обручком вместо мужа мыкаться. Детки тоже оставили ее. Дочка еще грудная была, а у Нюты от всех переживаний и трудностей молоко пропало, она всю ночь ее, остывшую, с рук не спускала. И сынок той же ночью помер внезапно, во сне, она ничего и не почувала, утром только обнаружили, а уж всё, застыло тельце. Нюта детей и не хоронила, надолго впала в забытье, соседки едва вытащили. Она не давалась — рвалась к детям своим, искала тропинку, по которой ушли от нее, а не находила никак, перекрыли ей все ходы на тот свет, а она одна не хотела возвращаться. Пришлось все же вернуться и вековать одной свой век, коротко, долго ли — никто не обозначил. День за днем, год за годом, война ушла в далекое прошлое, только в мозгу в какой-то точке осталась неизбывная боль. Она ее заглушала, как могла, то в работе до полного изнеможения, то в запое, а когда сил ни на то, ни на другое не осталось, сложила руки промеж колен, изуродованные тяжелой работой пальцы сплела, присела на крыльце на старый колченогий табурет, спиной к косяку дверному прислонилась и, задрав голову, в небо смотрела — и днем, и ночью. То ли выискивала что-то, то ли привета ждала оттуда, то ли глас призывный пропустить боялась: вдруг позовут — а она здесь, начеку, сразу же и пойдет.

А тут некстати Дюша приехала, сестра троюродная, почти позабытая, — погостить ли, а может, навсегда поселиться, ничего толком не сказала. Да Нюте не жалко, только пост свой покинуть боится. Она так Дюше и сказала, не стала кривить душой: живи, мол, не помешаешь, да только боюсь свой час прокараулить. А Дюша сразу душевно откликнулась, без обиды, без натяжки: а давай вместе сидеть будем, сказала, оно вернее и чуток веселее. И вроде засмеялась или всхлипнула, и обнялись бабы, которые друг про дружку мало что помнили, а сердцем родные — обнялись сладко и жарко. Всю ночь просидели рядышком, ни слова не произнесли, и так все понятно стало, слезы одна другой вытирали, да не забывали прислушиваться и на небо смотреть — чтобы главное не прозевать.

И выпало им время. Долгое время выпало. Никому не нужны они здесь, на земле, потом, кровью и слезами умытой, и на небе, далеком, холодном, даже при самом ярком солнце. Ни на каких звездных путях-дорожках никто их не ищет. Дежурить продолжали, но без того яростного ожидания, как при первой встрече.

Тихий скромный быт сложился — на огороде выращивали самое необходимое, много ли им нужно? Плюс молоко от старой козы, плюс грибы да ягоды, все есть, руку протяни — что-нибудь найдешь. На зиму в подпол прятали и понемногу доставали для пропитания.

При первой встрече всё друг дружке рассказали-выплакали, взахлёб, слова со слезами перемешались, наболело и у одной, и у другой, в себе уже не удержать — невмоготу.

Нюта показала Дюше похоронку на героически погибшего на войне мужа и будто исповедалась: больше ни одного разу никакого мужчину к себе не подпустила, верность своему мужу хранила, любовь промеж них была смолоду крепкая. Он первый, он и последний. И не хотелось даже, будто окаменела. Про дочку, бутончик маленький, раскрыться не успела в красе своей — только волосики рыжие на макушке курчавились, да глазки васильковые горели, да губки, два лепесточка розовых. Глаз не отвести, раскрасавицей должна была стать, вся в отца своего. Все ей грудь свою пустую в рот совала, а дитя смотрело так укоризненно, жалобно, потом закрылись глазки, губки посерели, и тельце вытянулось, большенькая стала, будто враз повзрослела. И сынок в ту же ночь ушел, побежал к ним, может, отца сильнее любил, может, не понял, что назад пути не будет. Так и осталась: вдова и сирота в одном лице, жизнь будто остановилась, только время мимо катится. Я его не замечаю.

Дюша показала Нюте снимки разных лет и тоже все о себе рассказала без утайки: а у меня, кроме Юрашечки, другого мужчины не было, я ему всю свою любовь отдала, бабью и материнскую, дороже и ближе его никого во всю жизнь. Волосики мыла, попку, спинку вытирала мягким полотенцем, одевала-переодевала, причесывала непослушные жесткие волосики, пока не сказал: сам! Сам! Обидно, да, но мне столько радостей выпало с самого начала: потрогать ручки, ножки, пальчики и все остальное, покачать на руках, к груди прижать и представить себе, что моя кровиночка носиком посапывает и губками чмокает. А после и другое многое досталось. Ни в детский сад, ни в школу водить за руку не разрешал — все сам да сам! Но рядом, медленно по двору, по улице идем вместе, людей, детей встречаем, все нас видят. Я приоденусь, причепурюсь, косыночку на шею подвяжу, как профессорша прямо, как обезьянка, все, что могла, за ней повторяла: пучок, как она, закручивала, даже помадой губы бантиком делала, неярко, кроме меня самой, может, никто и не видел, а может, видели, да смущать не хотели. Любили они меня как родную, в ответ на мою любовь к ним. Все по-своему, но любили, я это чувствовала: если б что не так сложилось, ушла бы. Раньше бы к тебе приехала. Только я не могла их бросить, нужна была всем — кормила, поила, стирала, дом в чистоте держала, мне доверяли обиды, тревоги и радости, отдушиной для всех была. И никому не мешала. Только Полина, жена моего Юрашечки, стеной встала между нами и любовь нашу развела по углам. Сразу, как появилась в доме, молодая, гордая, своевольная, прежде всего ко мне, сразу меня выделила. На особое место определила среди родственников и жильцов-соседей. Ревновала его ко мне — все привычки наши осуждала, самые невинные. Вместе по утрам, пока она спала, чтоб не раздражать, чай пили из блюдечка с конфеткой-подушечкой, в детстве у меня научился, так нашей шутилой радостью осталось бы навсегда, коли б не Полина. Юрашечка и воскресные газеты мне читать перестал, не велено было, и варить-тушить по-моему не разрешала, и тесто ставить, как я привыкла — во все вмешивалась, только по ее рецептам из толстой поваренной книги велела делать и все проверяла. А мое всё вкуснее, руки сами делали, и сердце радовалось, Юрашечка больше любил мою стряпню, только сознаться не мог. Мы и это приняли, и много чего еще разного, и взгляды ее нелюбезные старалась не замечать, и голос сердитый, когда с припечатанной улыбкой на губах что-то выговаривала мне на вы, как будто бы вежливо: «Вы, Надежда, не могли бы...». А дальше что угодно. Ни разу Дюшей не назвала, как все, по-людски, я и не сразу откликаться стала без привычки. А по Юрашечке скучаю, каждую ночь мне снится. Всё обняться хотим, да слышится Полинин больной, срывающийся голос: «Пусть она уедет отсюда... поклянись». И Юрашечкино шепотом: «Клянись...»

Нюта первая и сказала ей: «Да езжай ты, поезжай к своему Юрашечке на радость вам обоим. Ждет, поди, зря ли письмом сообщил, что померла жена, преставилась, отмучилась и его отмучила. Поезжай. А я уж скоро к своим пойду, чувствую — дождалась».

И улыбнулась ясно, смущенно, впервые Дюша ее улыбку увидела. И запомнила навсегда.

Дюша вернулась.

Стояли с Юрашечкой посреди большого коммунального коридора, неловко обнявшись, будто срослись. Ни слов, ни слез, замерли в долгожданном объятии. Жильцы из своих комнат повыводили, кто дома был, молчат, смотрят, общее настроение выжидательное: что и как дальше пойдет.

Кроме своих жильцов, близняшки Таисия-Алевтина из квартиры напротив тоже присутствуют, у них на происшествия особое чутье. На похороны-поминки первыми приходят, на праздники — само собой. Куда ж без них? Привыкли, да и жалко — одинокие, судьбой обделенные, пусть погретятся у чужого огня, ни от кого не убудет. Жили бы в квартире Бероевых, числились бы «постояльцами» по общему стажу проживания в доме, а так — как многие другие соседи в разряде «пр.», невзирая на то, что одна библиотекарша, другая фельдшерница в маленькой железнодорожной школе-семилетке по соседству, туда-обратно под ручку ходят.

Дюша их сразу заприметила по приезде. Они стояли за спиной Юрашечки так тесно прижавшись друг к другу, будто у них одно двуглавое тело и одно на двоих лицо, не отличить, только волосы у одной черные, у другой — белокурые. И брови изогнуты одинаково, и складка на переносице, и губы вытянуты, будто в едином дыхании «фууу!» выдохнули и перестали дышать, потому что стоят, не шелохнувшись, рядом с Юрашечкой. И дотронуться до его руки можно, даже два раза: «здравствуй» и «до свидания», а то и губами к щеке приложиться, осмелиться — одна к левой, другая к правой: «Будь здоров... давно не виделись... скучаем...» Больше им ничего не нужно — это безответная любовь, так в жизни не бывает, только в романах, где все надуманно и шито белыми нитками. А тут еще, мало того, — одна любовь на двоих, вроде легче должно быть, а нет, пополам не делится. У обоих плечи под грузом сгорбились. Он все видит, все понимает, а ответить нечем, с годами так и не придумал, устал от них, а высказать не может — воспитание не позволяет. И Дюша не одобрила бы, жалеет их, она все понимает.

Она всех жалеет и озирается по сторонам, ищет взглядом жильцов, которых нет. Большие перемены произошли за время ее отсутствия. Это она позже узнала.

Умер старший по квартире, староста, как звали все за глаза. Желтые листки правил висят на своем месте, желтеют, осыпаются, прежние жильцы соблюдают по привычке и новым объясняют и велят выполнять. Старосты другого не выбрали, перешли на коллективное управление по новой моде.

Старосту Виктора Викторыча Поталуева недолюбливали, но уважали и немного побаивались — слишком непримирим в борьбе с беспорядками: ни покурить, ни выпить при нем в удовольствие, ни покричать от души, когда прижмет. Чуть что — милицией грозит, да слов на ветер не бросает: когда чересчур разойдутся жильцы, вызывает блюстителей порядка. Он им тоже поднадоел, но прислушивались, не оставляли без внимания его обращения. Не только в квартире староста, но и старший по подъезду на общественных началах, и кроме всего — инвалид Великой Отечественной войны: правую руку потерял. Вернулся с аккуратно заправленным за пояс пустым рукавом гимнастерки, выше локтя культя подрагивала. И рассказывал всем соблазнительно, что, мол, перехитрил немца, потому что левша, а руку-то — правую прострелили. Медсестры до слез жалели молоденького сержанта, а он шутил — да я Левша: одной левой блоху подкую, не боись. И правда, справлялся, да только токарем к станку вернуться уж не мог. Сторожом взяли на маленький литейно-механический завод при центральных вагоноремонтных мастерских Министерства путей сообщения, откуда призван был после школы ФЗУ, да еще и комнату ему как фронтовику выделили в доме неподалеку. Повезло!

Поталуев в квартире третьим постояльцем был по Дюшиной классификации — после нее и Профессора Юрия Анатольевича Бероева. Остальные все позже заселились, немудрено, что его старшим выбрали. И дома много бывает — работает сутки через двое, в оконце сторожки свое окно видит и цветы в палисаднике, устроенном на небольшом участке за редким и невысоким штакетником еще бабушкой Юрия Анатольевича, настоящей профессоршей. Потом уж в память о ней ухаживали за клумбой и другие жильцы. Больше всех радела за садик, конечно, Дюша, самая верная и преданная семейству Бероевых.

Строг был Поталуев, но справедлив — это, хоть и нехотя, признавали все. В квартире и подъезде порядок поддерживал неукоснительный, результат всех устраивал — в бедламе и скандалах никому жить неохота. Сторожей в заводской сторожке, кроме него, было еще двое. Федя, тоже фронтовик, контуженный так, что зайкой стал, невыносимо было видеть, как мучается, когда «заест» на слове, и тетя Таня, Танюша-бедная, сына и мужа на войне потерявшая, в несменяемом темном платочке на голове, из-под которого седые кудряшки высывались. Из сторожей Поталуев самый строгий был, за что и назначили бригадиром. Тоже, разумеется, на общественных началах. Он и дрова лихо одной левой рубил для печки в сторожке, поскольку паровое отопление до нее не дотянули, и замки, и засовы на воротах смазывал, и петли, чтоб не скрипели. Ну и, само собой, следил за порядком, при нем, все знали, и муха на заводской двор не пролетит — все въездные и входные документы дотошно проверял: и печати, и подписи, и даты, и на свет зачем-то смотрел, скорее всего, для пущей важности. В общем, кремень-мужик, иначе не скажешь.

Одна только слабость была у Поталуева: влюблен был в жену замдиректора по снабжению, который проживал с семьей в бывшем общежитии на территории завода в ожидании отдельной квартиры. Тайно влюблен, но шила в мешке не утаишь. Видели же, как краснеет и бледнеет, только поздоровавшись с ней, а уж если какой разговор случится, вспотеет от натуги, волосы делаются мокрыми, как после бани. И уголь для печки в общежитие понатаскает, и воду с колонки, и сумки с продуктами от сторожки до их порога на заднем дворе принесет. Замдиректора возражал поначалу, потом смягчился, видно, жена уговорила, она видела, как Поталуев страдает — жалела его. А он даже дочек ее в сторожку пускал к печке погреться-посохнуть, прежде чем домой идти в обледневших шубках и шароварах, маму расстраивать. Это ж с ума сойти: Поталуев! посторонних! в сторожку! Что ж — и на старуху бывает проруха. По-доброму подшучивали. Он на шутки не откликнулся. Тайну свою берег.

После войны, когда комнату дали, Поталуев учился приспособливаться к жизни с однорукостью своей. Получалось, да не всё. Дюша поначалу помогала: постирать, погладить, зашить-заштопать, картошку почистить, да мало ли что у него не выходило. Поталуев принимал помощь, но она видела, как мучается он своей зависимостью, как хочет жить обособленно. Чтобы всё сам. Сам! Как Юрашечка маленький. Да не та ситуация, надо было искать выход из трудного положения.

И Поталуев привел женщину. Привел и поселил в своей комнате, самолично нарушив главную заповедь своих Правил общежития: НЕ пускать на ночлег никого более чем на две ночи. НЕ пускать. Нарушил. Поселил бессрочно, ни с кем не обсуждая. Приняли единогласно по умолчанию — всё помощь инвалиду безрукому. Пожалели. Ох, не слышал их Поталуев, не понравилось бы ему!

Женщину привел всем знакомую, Люську, посудомойку из заводской столовки, справную, ловкую, все в руках горело. А так — тихая, неприметная, не видно, не слышно ее — ни шагов, ни голоса. Жила она во дворе этого же дома, только в деревянном бараке в большой многолетней семье Василия Лубинова, трудоголика и алкаша. В одном человеке причудливо совместились, казалось бы, несовместимые характеры. У Василия это получалось. И на работе на хорошем счету, прощали редкие, иногда на несколько дней, запои, зато на призыв отработать дополнительно смену, даже и ночную, откликнулся первым. И соседи его любили — кому замки врежет, кому примус починит или велосипед, кому ограду палисадника поправит, зимой снег

побросать, дорожки расчистить — тоже он первый. Любили его соседи, не дебошир, не матерщинник, и дети, все пятеро, вежливые, любознательные, матери помогают по хозяйству и соседям, книжки читают, в детскую библиотеку записаны. Их другим в пример ставят: не гляди, что плохие жилищные условия, себя хорошо содержат — ни перед кем не стыдно.

Люська, старшая сестра у четверых братьев, семилетку окончила почти отличницей, а дальше работать пошла, чтобы родителей зарплатой поддержать, чтоб братья выучились по-настоящему, чтобы их мечты сбылись. Она сама, конечно, не мечтала стать посудомойкой, медсестрой хотела, а после, может, и врачом. Но все так удобно сложилось: живет во дворе при заводе, пока родители на работе, дети под приглядом, и в случае чего — она тут рядом.

Поталуева она полюбила, смотрела на него, как на божество, только что не молилась. Крестом осеняла, спящего или в спину. Только бы не увидел. Боялась его. Нет-нет, он никогда не поднимал на нее руку, он вообще и мухи обидеть не мог, с виду только суровый и порядок любил. А ей так его жалко, умереть готова была за него. Только ни к чему это оказалось. Ему — ни к чему. Всё, вроде бы, нормально, а не сложилось у них. Он тоже старался, нарушил правило — не пускать на проживание посторонних. Ради нее нарушил, думала Люська, а оказалось — нет, для себя попробовал.

Одно только совпало — она ему посторонняя. Ни жизнь с ней до самой смерти жить, ни жениться на ней он и не думал. Он вообще не собирался жениться. А тут как раз дошла до него очередь — протез сделали. Казалось, сбылась мечта, да только нет — непутевый протез, никакого от него облегчения, ну, почти никакого. Напрасно тешил себя надеждой, напрасно обидел Люську. Вышло как вышло — быть ему бобылём, решил. Окончательно и бесповоротно. Будет до гробовой доски верность хранить своей возлюбленной, чужой жене, пусть так. Он им не навредит. И точка.

Ненадолго загадал.

У гроба Поталуева, выставленного в заводском дворе перед красным уголком, собралось много народа: заводчане, соседи, однополчане, кто жив. По бокам стояли две не похожие друг на друга женщины, из разных миров. Одна, белолицая, синеглазая, скорбно смотрела на него, уходя, оглянулась, сказала тихо: «Прощайте, Виктор Викторович, земля вам пухом». Первый раз его так назвали, полным именем, со всеми буквами. Будь живой, не отозвался бы без привычки. А Люська рыдала взахлёб, слезами его залила и все шептала: «Прими, Господи, с милостью раба Твоего Виктора, пожалей его, как я жалею, и прости все вольные и невольные грехи его...» Будь Поталуев живой, эти слезы и эта немудреная молитва растрогали бы его: никто никогда не просил за него Бога. Никто. Никогда. Только Люська, посторонняя Люська.

А Люська оклемалась после его смерти, вернулась жить в барак, к многодетной семье своей, в тесноте да не в обиде, решили обоюдно. Она вскоре и замуж вышла за инженера, немолодого, степенного, доброго и отзывчивого человека, который любил и оберегал ее от всякой нужды, как мог. Она нянечкой в детском саду стала, работа пришлась по душе, своих деток Бог не послал, а она с детства привыкла, что малышня вокруг хороводится. Хорошо прожила Люська свою жизнь без Поталуева, иного мнения не было. Но свечку за упокой его души ставила в церкви два раза в год — в день его смерти и в день ангела, ни разу не пропустила.

А с инженером познакомилась в квартире, где Поталуев старостой был. Его так и звали все, за глаза и в глаза — Инженер — вместо имени и отчества, отдавая должное его обособленности от остальных жильцов. Так-то у них только один учитель географии был, по-домашнему Профессор, остальные все попроще, классом пониже. Инженера дома видели редко, он все в отъездах, в командировках, чем занимался, знать не знали, предполагали, что на космос работает, в закрытом секретном ящике где-то под Москвой. На все вопросы и намеки отвечал улыбкой и шуткой, которую многие знали, да не придавали серьезного значения: «Болтун — находка для шпиона». Где они, где шпионы! Шутник — одно слово. А так мужик хороший, сосед и вовсе

необременительный, правила все соблюдал, в график дежурств не попадал из-за своих частых отлучек, да и беспорядка от него никакого, а когда дома бывал, всем помогал, как мог. Особенно Люське перепало его внимания, все видели. Она смущалась, краснела: «Нет!», «Не надо!», «Спасибо» только и слышно было. Поталуев ничего не замечал, или делал вид, с Инженером были на «вы» и взаимно вежливы, вроде делить им нечего. А вон как все обернулось — именно с Инженером Люська нашла свое счастье. Без Поталуева.

А соседи помнят, как на староновогодних квартирных посиделках Инженер приглашал Люську на танец, и они медленно кружились на свободном пятачке небольшой соседской комнаты, где устраивали праздник. Хорошая была пара, со стороны сразу заметили. Все были довольны. Только Поталуев в этом празднике не участвовал.

Жильцов прибавилось за все время семеро. Не все, правда, надолго задержались.

Один долгожданный, вымоленный общими усилиями, родился наконец-таки у Натальи, Наталки, по прозвищу «Цыганка», черноволосяй, чернобровой, с тонкой талией и стройными ножками, без усталости приплясывающими, что бы ни делала: полы мыла, общественную уборную чистила, обои в комнате клеила, пельмени на кухне лепила в расчете на всех жильцов — ножки в туфельках, каблукчиками притопывает. Всеобщая любимица Наталка, к ней все с душой и сердечностью, на какую соседи по коммуналке способны. И общий для всех праздник устраивала в своей комнате Наталка — Новый год по старому стилю. Другие праздники не отмечала — ни свой день рождения или именины, ни государственные по разным революционным поводам, ни тайные, церковные. Не хотела разлад вносить, пусть каждый сам разбирается. А Старый Новый год брала на себя, все приходили, никто не отделился, даже Профессор Юрий Анатольевич, даже жена его покойница Полина заходила, пока беда с ней не стряслась, посидит в углу стола, поглядит на всех с улыбкой странной, блуждающей, высокомерной, подарит Наталке подарок в красивой бумажной упаковке с атласным бантиком, пригубит шампанское из ненастоящего хрустального стаканчика и выйдет, прикрыв за собой дверь. Тут уж праздник и входил в полную силу, будто благословение свыше получили. С удовольствием ели Наталкины пельмени, с удовольствием пили в меру и в радость, танцевали по очереди около стола, чуть сдвинув стулья в сторону, места для всех не хватало, пели с настроением, хоть и вразнобой — кто слова путал, кто в ноты не попадал. Даже Юрий Анатольевич пел со всеми, а то и сольно: песни-романсы красивым мягким баритоном. Дюша глаз с него не сводила, слезы платочком промокала, а губы в улыбке растянуты.

Наталкин сын, богатырь (4500 гр. веса, 54 см роста) — для всех явился чудом, уж и не чаяли. Столько бед пережила Наталка в своей женской доле, мало никому не показалось бы. И муж хороший был, любимый, любящий, работающий, не пьющий, что вообще редкость, в окрестных дворах таких по пальцам пересчитать, разве что интеллигенция — исключение, да и то: как сказать. И детей хотели, чтоб семья большая, многодетная, сама Наталка и муж — бывшие детдомовцы. А бывших не бывает — сиротство в кровь вошло, не вытравишь. Вот и ждали первенца. А у Наталки все никак не получалось; первый умер, только на свет из материнской утробы вышел, глазки открыл: пуповину не успели перерезать — запутался. Мальчик, большой, красивый. А дальше пошло-поехало — выкидыш за выкидышем. А их не удержать было в упрямстве к цели: детей хотим, много детей.

А потом он уехал, далеко и надолго. Нет, не ушел от Наталки, не бросил ее, упаси боже — на целину поехал, в казахстанские степи, на освоение целинных и залежных земель. Душа просила настоящей работы, с размахом, с риском, большого всенародного дела, шутка ли — больше зерна стране, всех голодных накормить своим хлебом. И семье поможет — и зарплата другая, и, может, ордена-медали дадут за тяжелый патриотический труд, и какие-то льготы будут для многодетных семей. А то! Они обязательно будут многодетными: он к ней в отпуск приезжать будет, она — к нему,

поначалу в палатку или в вагончик, потом все как-то образуется. Непременно образуется.

Не тут-то было. Отговорить его Наталке не удалось, хоть сердце беду подсказывало. Один только раз она к нему съездила, едва в палатке чужой ночь переночевали, чуть не задушили друг друга в объятиях. Так прощаются перед смертью, думала Наталка и плакала у него на груди, а он радовался, что они вместе, и всё про будущее говорил, как хорошо они будут жить большой и дружной семьей, когда освоят целину и он вернется домой навсегда. Не вернулся, бетонными блоками придавило при разгрузке машины, глупая смерть из-за чужой халатности. Первенец родился крупный, красивый, один ребенок в неполной семье, безотцовщина.

Одна комната у входной двери в коридоре получила строгое название «Служебное помещение при домоуправлении». На первом этаже в подъезде более подходящих не было. Эти соседи — из категории «пр.». Она юркая, подвижная, невысокая. Он подслеповатый на один глаз, веко чуть подрагивает, будто подмигивает, ровненький — подтянется, плечи назад отведет, подбородок вздернет и руки по швам: ну чисто солдат в строю. Не суть, на какой войне — бравый, бойкий. «Смирнаааа!» — кричит и красивый разворот делает на 180 градусов. И: «Шагом марш!» — пошел прочь. Зовут его Лука, ее Лукерья, оба Ивановичи. Она на его фамилии — Седова, свою уж и позабыла.

«Лушка! — орет Лука. — Жрать давай! Толку от тебя никакого». А у нее уж ши на столе дымится в кастрюле облупленной, кто-то выбросил, она подобрала, вычистила, отскребла все налипшее, пригоревшее, вкусно варится то, что задумает. А у них все такое переделанное, перестроенное из чужих обломков, перешитое из обносков. А не догадаешься никогда — все хорошо смотрится. Не понапрасну слывут во дворе и за его пределами на все руки мастерами. Лука все сам смастерил. Всей мебели: матрас на курьих ножках, стол, два стула и комодик в три ящика для всякой всячины. Ножки все одинаковые выстрогал — как в гарнитуре. Матрас неширокий, а они оба росточка невысокого, тщедушные, друг к другу в тютельку подогнанные, хорошо помещались, без обид. Лука любил приговаривать, посмеиваясь: «Не боров, чай, не раздавлю!» И хлопал Лукерью пониже спины. Она смущалась, краснела, как девушка.

Мастерами-то, умельцами — это да, говорили, но и слушок темный тянулся за ними, след в след. После смерти Луки вдруг проявилось неожиданно то, о чем смутно догадывались старожилы: стукачами были дед да баба, на всех, кто не мил, доносы строчили, а может, на всех без разбору, из любви к искусству или по заказу сверху. Ни возразить, ни подтвердить некому. Как в анекдоте: «То ли он украл, то ли у него украли... Но что-то такое было...»

Лука скоропостижно помер от сердца. Никто не ожидал. Особенно Лукерья. Оставшись одна, совсем потерялась в жизни. Весь день на кухне толкалась или по коридору ходила, туда-сюда, взад-вперед, без всякого смысла. А на кухне на табуретку присядет возле столика ихнего с Лукой, в дальнем углу, где вход в Дюшину каморку раньше был, и читает вслух газеты, как Луке читала, тот грамоте не обучен был. А читать закончит, из кармана халата бумажки вытащит и пишет, пишет, слюнявя чернильный карандаш. Написав, скрутит листочек, как самокрутку, носит в руке, показывает каждому встречному, но никому не дает. А потом спичкой подожжет в жестяной банке из-под консервов «килька в томате» и смотрит, как горит, плечи мелко вздрагивают — то ли смеется, то ли плачет, не разобрать.

Так с утра до вечера в коридоре и на кухне топталась, в свою комнату только спать уходила, этого уж никто не видел. А шаги ее слышали — шаркает по коридору, эхо следом шуршит. К двери подходит — к одной, к другой, ладошку трубочкой свернет, ухом прильнет и замрет. Поздно, все комнаты закрыты, но голоса услышать можно: щели под каждой дверью. Слушает Лукерья и записочки пишет. Тут кто-то и сказал: стукачами были дед да баба, доносчиками. А что с этим делать, никто не знал, только как-то нехорошо сделалось, будто в квартире злой дух поселился, верь — не верь.

А Лукерья все бродит, шаркает. Здра-в-ст-вуй-те, говорит всем, улыбаясь.

Сколько раз встретит в коридоре, столько раз и скажет: живите на здоровье. Четко выговаривала каждую букву и кланялась, словно тайный смысл вкладывала в слово, объяснить что-то хотела или прощения попросить. Ничего дурного в том не было, да никто и не задумывался. От нее только пожара боялись, и пришлось отдать ее в больницу, которую в народе дуркой зовут. Она и там газеты читала, записочки писала и всем, кого встретит, здра-в-ст-вуй-те, говорила. Только улыбаться перестала. Так и ушла, никем не оплаканная, ни доброго слова вослед не услышала, ни хулы. Отжила свое и исчезла. Будто и не было ее на этом свете, а на том ответ держать за все придется перед высшей силой, никуда не денешься.

Снова одна комната в квартире опустела.

В комнате бывшего старосты тоже два новых жильца, по Дюшиной классификации скорее из разряда «пр.». Эти никому не приглянулись с первого взгляда, редкое единодушие проявили соседи, даже не обсуждая никаких подробностей. Не понравились, и все тут. Не молодые, не старые, не работяги, не баре, не поймешь кто. Да и все жильцы, кроме Профессора, постояльца, по Дюшиному определению, — из простого народа, кто из рабочих, кто из крестьян, да Наталка — сирота детдомовская, про своих родителей ничего толком не знает. И все же никто друг у друга не на подозрении ни по какому списку, хоть и в дружбе не состояли. Лука и Лукерья, правда, не без греха оказались, но все же: не пойман — не вор.

А эти новенькие...

Особенно он, вихрастый, борода кудрявая, как у Карла Маркса, коренастый, глаза навывкате, почти бесцветные, и челюсть вперед лопатой выпирает. В темноте столкнешься — умрешь от страха. А она красивая, но какая-то скукоженная, как гриб на обочине, что ли. Не лицом, его хоть на икону — и цветом волос, и бледностью, и неизбывной печалью глубоких темных глаз. Лицо прекрасно. Осанка подвела, жметесь к входной двери, плечом неловко подпирает, шаг вперед не сделала. Только сказала тихо: «Фая меня зовут. Мир вам всем». Он прыгнул к ней, рот зажал ладонью и выкрикнул в коридор, где соседи собрались: «Фрося зовут! По-нашему: Фро-ся. Тоже на букву фэ. — И добавил сразу на одном дыхании: — Евреи живут здесь?» — «Нннет», — ответил кто-то растерянно. Остальные молчали в недоумении. Чего-чего, а *этого* у них не было. По *этому* признаку не разбирались, Бог миловал.

Что Полина из евреев, узнали только когда она умерла, из-за поминок Профессор проговорился. Никто особо не придал значения, помянули по-людски — уважали ее, побаивались, пальму первенства ей отдали без сопротивления, никто не претендовал. Она тоже из «постояльцев», значит из другого мира, о котором мало что знали, в других условиях выросли. Она и с днем рождения всех поздравляла, и лекарствами помогала, и врача вызвать, и деньги одолжить могла в трудный момент, да так все это делала, что легко было принять, умела и подход к каждому знала. С кем на «ты», с кем на «вы» — всегда уважительна. Да что говорить, Полину все добром поминали. Кроме Дюши, у них свои отношения были, да и Дюша тоже зла не держала, не было у нее такого навыка.

Юрий Анатольевич по одному из дедушек тоже был еврей, но об этом никогда разговоров не было. Может, одна Дюша только и знала. А она их любила, всех без разбора, особенно Юрашечку своего драгоценного.

«Не живут евреи? Слава Богу. А то греха с ними не оберешься, — воскликнул пронзительно Лупоглазый и обвел взглядом соседей, на каждом лице задерживался, словно подноготную высматривал. — Ну ладно, поживем, увидим, как там сложится».

Соседям добавить было нечего, быстро разошлись по комнатам, даже кто с чайником или сковородкой на кухню шел, вернулся к себе. Происшедшее требовало обдумывания. Озадачил всех Лупоглазый.

«Поживем, увидим, как все сложится», — непростое заявление, с подтекстом, с угрозой. Будто взял на себя роль главного управляющего по квартире, будто ему дали право разбираться. А и то сказать — Поталуева нет, и мир в квартире сделался

неустойчивым. Никто не стремился к ссорам, дебоширов по призванию среди жильцов и «пр.» не было, но в коммунальной квартире, как в любом общежитии, не бывает без вспышек агрессии, зависти, злобы, хоть и без видимой причины, просто от плохого настроения и дурной погоды, когда душа требует чего-то «героического», за что потом стыдно будет и прощения просить придется. Так Дюша в доброте своей всех причала, Полина тоже к каждому свой подход имела и гасила ссоры, не давая разгореться. А уж про Поталуева и говорить не приходится — этот умел сказать «цюрюк» любому, в любых обстоятельствах, без оглядки, такое словцо с войны принес.

В общем, скорее мирная была квартира, а Лупоглазый что-то дурное в душе имел, всем показалось. И затаились.

Фая-Фрося на букву «фэ», напротив, была добрая, пугливая, тише воды, ниже травы. Муха пролетит, и то шума больше, чем от Фаи-Фроси. И голос-то ее не слышен был. «Мир вам», — сказала, стоя на пороге при первой встрече. «Мир вам», — повторяла утром, днем и вечером. Ни слова больше — ни о себе не рассказывала, ни других не расспрашивала. Лупоглазый все хозяйственные вопросы сам решал — где стол на кухне поставить, где вешалку в коридоре прибить, сам отодвигал, что мешало, особо ни с кем не церемонился. Поталуевские Правила со стенки сорвал, пробежал глазами. «Херня для дураков», — сказал, криво улыбаясь, и выкинул в мусорное ведро.

Никто не подобрал, другие настали времена.

Лупоглазый нигде не работал, не сразу узнали, что художник, для детской фабрики рисовал картинки на коробках с головоломками, имел разрешение работать на дому, по какой причине — объяснять не стал. Поставил перед фактом. Ходил по квартире в клеенчатом фартуке и чесучовой беретке, весь перепачканный краской — и фартук, и беретка, и рубаха клетчатая, навывпуск надетая, и борода. Живописно выглядел, такого у них еще не было — ни в жильцах, ни в «пр.». И кривоватая улыбка не сходила с губ, вроде все хорошо, но что-то не так.

И прорвало однажды в выходной день, к вечеру, когда все дома были, закончили помывочные и кухонные дела, прибрали, подмели и разошлись по комнатам время коротать.

Лупоглазый с шумом грохнул дверь и, толкая перед собой белую, как саван, Фаю-Фросю, стал стучать в двери и кричать: «Все на выставку! Все на выставку! Дармовой показ шедевров графического искусства! Фрося-ню! Фрося-ню! Моя евреечка-ню! Попробуй кто сказать, что не шедевр, убью на месте!». Соседи вышли в коридор, из страха перед Лупоглазым, из жалости к Фае-Фросе. Просто от неожиданности. А он прикинул к стенке несколько белых листов бумаги размером с детский альбом для рисования. На каждом Фрося-ню, обнаженная, то есть, не все это знали. Черным карандашом или углем по белому. Красиво, но стыдно. И Фая-Фрося, теряя сознание, шепчет, едва слышно: «Костик, не надо... Костик, не надо... Люди смотрят... стыдно... Не надо!..» — «Ах, тебе стыдно! Ах, люди смотрят. На евреечку мою пусть смотрят». И стал подталкивать в спину каждого, кто топтался в коридоре. И Фае-Фросе, дико вращая глазами: «И ты смотри, смотри! Тебя Художник! нарисовал! увековечил! Художник с большой буквы! — Сорвал с себя фартук и берет, швырнул на пол: — Никогда больше не надену. И коробочки раскрашивать по трафарету не буду! Смотри, смотри! Глаза открой, дура!». Замахнулся на нее и со всего размаха ударил по щеке. Фая-Фрося упала к его ногам, облегченно выдохнув: «Уууффф!». Дюша засемила к телефону, «скорую» вызывать.

Тут вышел из своей комнаты Профессор, не выдержал. Подошел к Лупоглазому на расстояние вытянутой руки и сказал сдавленно: «Не смейте так обращаться с женщиной, не смейте людьми помыкать. Уберите свои рисунки, им здесь не место. — И добавил по своей всегдашней привычке, совсем уж некстати: — Прошу прощения...». Тихо сказал, но Лупоглазый вздрогнул, что-то зловещее почудилось ему в словах Профессора. И правда, картина со стороны выглядела странно: мужчины стояли друг против друга, от напряжения, казалось, между ними искры вспыхивали, а на полу у их ног лежала недвижная Фая-Фрося. Соседи со страхом ждали развязки.

Но Лупоглазый взял себя в руки, встряхнулся и заорал: «Ах, уберите свои рисунки?! Ты меня поучать надумал! Я сразу понял, какого ты поля ягода. Ученого не проведешь на мякине. Догадался сразу! У меня глаз — ватерпас. Мы еще посмотрим: кто кого!». Нехорошо выругался и замахнулся на Профессора. Дюша схватила его сзади за рубаху и что было сил потянула на себя. А Таисия-Алевтина на руке повисли, защищая своего Профессора, вовремя в гости к Наталке пришли.

В дверь позвонила «скорая».

Фаю-Фросю увезли в больницу, она оказалась беременная. Соседи узнали эту новость раньше Лупоглазого. Он на пятнадцать суток загремел, Профессор в несвойственной ему манере довел дело до милиции, как бы взял на себя роль Поталуева и попросил наказать скандалиста, чтоб впредь неповадно было. В милиции согласились — сработал авторитет бывшего старосты, — квартира долгие годы была образцово-показательной. Фаю-Фросю оставили в больнице на сохранении. Она возражала, рвалась домой, но врачи настояли.

Инцидент был исчерпан. Но жизнь не остановилась. Как дальше сложится, никто не мог предсказать. Соседей случай сблизил, все оказались на стороне Фаи-Фроси. Не приняли Лупоглазого. Он, не дурак, — почувствовал общий настрой, затих. Фартук и беретку больше не носил, следов краски на нем не видно стало, чем в комнате занимался подолгу в тишине, никто не знал. Помирился ли с Фаей-Фросей, тоже неясно. Они никогда вместе не показывались — ни на кухне, ни в подсобке, и вместе из квартиры не выходили. Фая-Фрося готовила еду, Лупоглазый приносил продукты. Он ел в комнате, она — на кухне. Такой странный союз. Лупоглазый ни с кем из соседей не общался, даже не здоровался при встрече, а если лицом к лицу столкнется, головой дернет, тараша глаза, и в сторону. Фая-Фрося была со всеми безразлично равна, будто не отличала одного от другого, только Профессора избегала, как могла, ни слова ему не сказала после памятного случая, глаза отводила. То ли стыдно было, то ли осуждала за то, что Лупоглазый в милицию попал из-за него. Скорее второе.

Рожать Фаю-Фросю отвезли на «скорой», незаменимая Дюша на кухне увидела, что она корчилась от боли и уже воды отошли. Лупоглазого дома не было. Роды прошли тяжело, но девочка родилась хорошая, доношенная, черноволосая, с большими, чуть на выкате глазками — немного в маму, немного в папу. Он светился радостью, этого нельзя было не заметить: улыбка не сходила с лица весь день и даже ночью, когда носил девочку на руках по длинному коммунальному коридору, осторожно прижимая к груди, так она лучше спала — у него на руках. У него, а не у Фаи-Фроси. Соседи, не сговариваясь, потеплели душой к Лупоглазому, ребенок решил ситуацию в его пользу. Поэтому однажды, увидев на стене коридора приклеенные листочки белой бумаги с черными грифельными рисунками, соседи — постояльцы, жильцы и «пр.», — собрались в кучку, постучали во все двери: «Выставка! Выставка!». «Девочка-ню!» — добавил кто-то, они теперь знали. Фая-Фрося и Лупоглазый стояли у своей двери, держались за руки, он сиял и повторял в восхищении: «Фроша моя маленькая! Евреечка моя! Ню!». Возразить нечего — теперь их у него две.

Неисповедимы пути Господни, неисповедимы.

Мир и покой поселились в квартире. Маленькая Фроша стала всеобщей любимицей и как бы сроднила всех, такого даже постояльцы не могут вспомнить. Каждый день новое событие: улыбнулась, чихнула, запела, зубки режутся, два передних выросли, температура, животик болит, сказала «да!», а кушать не хочет, днем спит — тсс! хочет ползать по коридору — не мешайте!.. большое многоточие... то ли еще будет! Вектор жизни устремлен в будущее! Оглядываться назад некогда, да и охоты нет.

В это благодное время Дюша освободила свою каморку. Из постояльцев один Профессор остался, да кому это теперь важно, никакого значения не имеет. Дюша унесла это с собой, она одна и блюла, как могла, этот порядок, установленный негласными правилами. Хоть традиция и родилась от чьей-то нечаянной описки, а все-

таки смысл в ней был: не зря ведь в шеренгу по росту строятся, а не как попало, по случаю.

Дюша умерла светло и тихо, не от болезни — естественной смертью, от старости: вечером уснула, как всегда спокойно, без сновидений, а утром не проснулась. Будь год не високосным, с весной на пороге встретилась бы. Дюша ждала ее, как и в молодые годы, с ничем не омраченной надеждой, но эту зиму не перезимовала, одного дня не дотянула: в ночь на 29 февраля уснула навсегда.

Жильцы, как полагается, всплакнули над гробом, но как горе переживал эту смерть только Профессор, Дюшин Юрашечка: ни одной родной души не осталось у него на всем свете. И квартира будто умерла — ни шорохов, ни шепота по углам, ни снов, наполненных воспоминаниями, ни утреннего чаепития в его комнате, которое они возобновили после смерти Полины и Дюшиного возвращения из деревни. Пили чай из блюдец с дешевыми конфетками, похожими на Дюшины любимые подушечки с повидлом, вспоминали что-то наперебой и радовались, что есть с кем поделиться.

Она помнила его маленьким, он ее — молодой. Тогда так не казалось, мал был и все, кто старше, числились старыми, не было границ, шагали по ступеням вместе и перемен друг в друге не замечали, пока он не сбрил отцовской опасной бритвой тонкую щеточку усиков над припухшей по-детски верхней губой. Он порезался, Дюша плакала, промокая перекисью ранку, платочком — свои слезы, а глаза сияли счастьем. Привстала на цыпочки, чтобы дотянуться и остановить кровь, он сказал: «Сам!», и они рассмеялись, опрокинувшись в те далекие годы, когда еще все были живы, жили большой семьей, когда квартира была не коммунальная, а отдельная, профессорская. По семейным праздникам (другие не праздновали) дедушка надевал темно-синий костюм из добротного английского шевиота, белую рубашку и сине-голубой галстук. Он был неотразим, и внук хотел быть похожим на дедушку — и чтобы седой ежик на голове, и шевиотовый синий костюм, и профессорская шапочка по принадлежности, как атрибут ученого, а не головной убор, неуместный в повседневной жизни. Внук это понимал как никто другой. Но гордилась Юрашечкой только Дюша, каждой пятеркой в дневнике и в аттестате, красным дипломом. «Круглый отличник!» — повторяла с гордостью, неустанно. «Круглый дурак!» — вторил он ей про себя: зачем, зачем пошел на геофак? Династию поддержать, продолжить семейную традицию? Она как-то не очень сложилась: профессор, доктор наук — кандидат, доцент — простой школьный учитель... Все ниже и ниже. Хорошо, у него сына нет, а то бы в такой системе координат быть ему недоучкой.

Он как бы и за себя, и за неродившегося сына пережил все радости и горести, выпавшие на долю ребенка в этой семье. Милая мамочка, милая бабушка, дорогие папа и дедушка — а где они? Каждый занят собой или друг другом, попарно. Бабушка и дедушка — неразлучные влюбленные, голубь с голубкой, в их мир лучше не вторгаться со своими вопросами и настроениями. Им не до... далее — бесконечное перечисление до чего им «не». Мама и папа — каждый сам в себе, даже когда после возвращения деда и бабушки жили все вместе в одной комнате. Мама — вся в книгах, музыке, в светских увлечениях и развлечениях, по дому, слава богу, все успевает Дюша. Папа — в науке, в потугах дотянуться до деда, только бы не вызвать его недовольства взамен снисходительного похлопывания по плечу. К этому отец привык. Он боялся одного — подвести деда в главном: умереть раньше него. Юрашечка не сразу понял, а поняв, буквально представил эту картину: папа лежит в гробу, а рядом дед в своем шевиотовом костюме и галстук, топчется, платок в руках комкает, а слез нет, и слов подходящих нет, неловко ему за сына, не знает что сказать. Юрашечка в уме не раз переживал это прощание — и за папу переживал, и за деда. Ну, бог милостив — в их семье все умирали в свой черед. Не зря папа неуклонно следил за собой — не пил, не курил, держал диету, гулял перед сном. Тоска и безысходность. Династийный непосильный груз. Зато речь над гробом деда сказал достойную, деду бы понравилось, и все слова шли из самого сердца. И душа его после смерти деда успокоилась, легче стало.

Вот такая история с географией. Дурацкая шутка. Профессор вслух никогда бы так не сказал, знает — ни деду, ни папе не понравилось бы. Не трогай географию! Это святое! Но он тронул, потому что именно так и подумал. И что самое интересное — очень близко к контексту их семейной хроники получилось. Так бы и назвал книгу, вздумай писать мемуары. Да он не писатель — куда ему! Не писатель, не историк, не географ. Он «постоялец» в своей квартире, самое высокое звание, которое заслужил.

Но не стало Дюши и кануло в Лету все, что помнили только они двое, да цветы в бабушкином палисаднике, с любопытством заглядывающие в окна.

А если уж совсем честно — Юрашечка с детства помнит одну Дюшу, она была его парой, живая, нежная, жаркая, преданная им всем, особенно ему. Бескорыстно: ей ничего от него не нужно, только бы он был у нее. И он был, пока не появилась Полина и своей волей взвалила на себя все его проблемы и заботы. Он стал не просто никем — ничем. Если бы не Дюша, он бы не выдержал своей семейной идиллии.

Последний раз свою волю Полина проявила, потребовав у него: поклянись! Он последний раз подчинился. Дальше все *сам*. Такой комплекс с детства имел и давил в себе, уступал всем, кто рядом. Только с Дюшей был *сам* всегда.

Лишь у постели умирающей Полины он, наконец, почувствовал, что нужен ей. Он и только он, незаменимый. Он продлил ее дни. Нужно ли это было ей, он не думал. Это было нужно ему. Вот где, наконец, пробилося его забитое жизнью эго: хоть что-то сделать от себя, для себя. И, конечно же, для нее, для Полины. Она была абсолютно зависима от него, он был ее поводырем на дороге *туда*. Это его победа. Единственная настоящая победа: не похвальные грамоты, медали, дипломы — это так, легче легкого. И никакого подтекста, тайного смысла: все знаешь, получи свое «отл.», стал лучшим — грамота в рамочке или без, защитил диссертацию — диплом в твердых корочках, мог на кафедре доцента получить, но пошел в школу, сеять разумное. Это все, чего он добился.

А Полине он продлил жизнь на земле, она дышала, спала и даже немного ела, он научился кормить ее, почти насильно, и радовался, что у нее розовеют щеки. Он следил за ней и все примечал, даже что-то вроде дневника вел, записывал. Если б спросили — зачем? — ответить не смог бы. А в один обычный, ничем не примечательный день все это ему надоело. Сразу, вдруг, как ножом отрезало. Он еще ничего не понял, только написал Дюше в деревню, что Полина умерла, чтобы возвращалась. Отправил письмо и сел возле Полины, сложил руки на коленях, крепко сцепил пальцы, будто сдерживал себя, и стал ждать. На вторые сутки Полина умерла, почти не мучилась. Через неделю приехала Дюша, к похоронам не успела. Или не захотела? И потекла обыденная жизнь с утренними сладкими чаепитиями.

И вот еще один любимый человек покинул его, а настроение ровное, спокойное, будто долг свой исполнил, будто сделал все правильно. Поди, пойми — в чем смысл жизни.

События и перемены грядут своим порядком, кем-то без нашего ведома установленным, выплывают порой ниоткуда, как снег на голову, неожиданные, негаданные, обывателю непонятные. Не смерть и рождение — это всем изначально прописано в свой час, а войны, смена правительств, а с ними и переустройство страны и города. Никуда от этого не деться — всему свой черед.

Строительство Рижской эстакады в семидесятые годы в точности по их переулку прошло. Все дома под снос — деревянные, кирпичные! Вместо них в отдаленных «спальных» районах росли новые панельные, как грибы на опушке леса. Маленькие, но отдельные квартиры со всеми удобствами получали многие. Кто годами мечтал о новоселье, каждый первый тост за праздничным столом, в тесноте да не в обиде: в следующий раз на новой квартире, вы к нам, мы к вам в гости ходить будем. Мечты сбываются. А кто и не мечтал, прикипел к месту, здесь корни пустил, отсюда и на кладбище хотел чтоб проводили. Среди таких первым был Профессор Юрий Анатольевич Бероев, для него переселение было равносильно катастрофе: как ехать? куда? зачем?

с кем? Всех своих он оставляет здесь: дедушку, бабушку, маму и папу, Полину, Дюшу. Бабушкин палисадник безжалостно перекопают, ничего не останется от райского уголка, где он ребенком подолгу оставался наедине с природой — цветы, трава, муравьи, мухи, бабочки, осы. Вокруг нового дома нет двора, а в однокомнатной квартире, предназначенной ему по ордеру, все углы чистые, открытые, пустые, блеклые обои, серая побелка, неуместно яркий линолеум — все чужое и чужим останется. Он даже фотографии на стены повесить не сможет, им там нечем дышать будет.

Он бы хотел, чтоб его, как Фирса, забыли в старом доме. Это был бы хороший конец, он присел бы в дальнем темном углу коридора на табурет, чувствуя, что все здесь. Толпятся рядом, решают, как лучше встать, будто в фотоателье пришли сделать большой семейный портрет. Давно хотели, да как-то все недосуг было. Настал час — улыбочка! замерли! вспышка! готово!

И Таисия-Алевтина в уголке фотографии неясно пропечаталась, лица смазаны, он их не сразу узнал: в школьных формах, с косами. Издалека шли и по справедливости на снимке оказались, все же и они старожилы, постояльцы — и детство помнят, и юность, всех, кто был, кого уж нет. И помнить будут, все унесут с собой, совершив прощальный променад по пустой квартире. Вот они удаляются от него, прижавшись плечами друг к другу, с длинными косами за спиной, а вот уже косы закручены вокруг головы, у одной справа налево, у другой слева направо, а вот уже косы подернулись проседью. Идут, глазами кого-то ищут, да только знают — не окликнет он их, не позовет. Руками машут, воздушные поцелуи во тьме посылают, робко, не явно. И хорошо, что никто не видит — прощальный ритуал не для посторонних глаз, не для любопытных, которые у чужого гроба потоптаться любят. Юршечка их видит — чувствуют, знают и благословляют его на будущую жизнь без старого дома, без бабушкиного палисадника, без постояльцев, жильцов и «пр.».

Юрий Анатольевич прикрыл глаза, успокоился, почувствовал, что сон окутал его. Но нет — за ним уже пришли. Мебель вынесли, ящики, тюки, он ни во что не вмешивался, сейчас его погрузят и увезут.

Разъехались постояльцы, жильцы и «пр.» — кто куда. Никогда друг друга больше не видели. Несколько раз отходную сыграли, вроде поминок получилось — кто плачет, кто думает уже о другом, о насущном, и смех еле сдерживает от предвкушения хороших перемен. Чего оглядываться: новая жизнь впереди. Последняя просьба-напутствие: зла не держите! Каждый каждого попросил.

И то сказать, не вдаваясь в подробности: чем дальше уходит, тем светлей вспоминается. Так устроена память.